

На переломе — эпизод 12 из 27

Из-под ее неуверенных пальчиков потянулись, бесконечно повторяясь все снова и снова, скучные гаммы. Мутные сумерки вползли в окна и сгустились по дальним углам... Нервы Буланина не выдержали, и он, забыв все свое утреннее мужество, горько заплакал, уткнувшись лицом в жесткую и холодную спинку кожаного дивана.

Миша, отчего ты? Что с тобой, Мишенька? спросила, подбежав к нему, встревоженная Аглая Федоровна.

Момент был очень благоприятный, и Буланин это чувствовал. Теперь бы и следовало рассказать откровенно все приключение с волшебным фонарем, но странная, стыдливая робость сковала его язык, и он только пробормотал, возя носом:

Так себе... мне тебя жалко, мамочка...

В половине седьмого он и Аглая Федоровна стали собираться. В старую салфетку были завязаны гостинцы: десяток яблоков, несколько домашних сдобных лепешек и банка малинового варенья.

Смотри, Миша, внушала мать, варенье понемножку кушай... с чаем... вот тебе и хватит на целую неделю... Товарищам дай по ложечке, пусть и они попробуют...

Затем она вписала в готовом тексте отпускного билета, что кадет... Буланин... в течение отпуска находился... у меня и вел себя... очень хорошо. Подпись родителей или лиц, их заменяющих... А. Буланина.

Ехать пришлось через весь город. И мать и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. Чем ближе они подъезжали к гимназии, тем пустыннее становилась местность... Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка; в ней дрожали, расплываясь, отражения уличных фонарей. Потом по обеим сторонам мостовой потянулись длинные, низкие, однообразные казармы с неосвещенными окнами. Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии, бывший кадетский корпус, а еще раньше дворец екатерининского вельможи. Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы; ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи.

У крыльца Аглая Федоровна долго крестила и целовала сына. Но так как к тому же подъезду ежеминутно подъезжали и подходили отпускные гимназисты, то в Буланине вдруг заговорил ложный стыд: сцена могла показаться чересчур нежной, может быть даже смешной, во всяком случае не

в духе гимназического молодечества. Весь проникнутый жалостливой любовью к матери и болью своего близкого одиночества, он тем не менее сурово, почти грубо освободил шею от ее рук. Когда же она вдогонку ему крикнула, чтобы он был прилежней, слушался воспитателей и в случае чего-нибудь немедленно писал (на что ему были уже даны конверты с заранее написанными адресами и с приклеенными марками), он, скрываясь в дверях, буркнул:

Хорошо... Ладно, ладно...

Но он все-таки успел заметить, как мать крестила его вслед мелкими, частыми крестами.

Он медленно взбирался на третий этаж по грязной чугунной сквозной лестнице, слабо освещенной стенными лампами, и ему казалось, что он вдруг осиротел, сделался снова маленьким, беспомощным мальчиком. Все его мысли были там, внизу, около покинутой им матери.

Вот она села в пролетку, вот извозчик круто заворачивает лошадь назад, вот, подъезжая к углу, мама бросает последний взгляд на подъезд, думал Буланин, глотая слезы, и все-таки ступенька за ступенькой подымался вверх.

Но на верхней площадке его тоска возросла до такой нестерпимой боли, что он вдруг, сам не сознавая, что делает, опрометью побежал вниз. В одну минуту он уже был на крыльце. Он ни на что не надеялся, ни о чем не думал, но он вовсе не удивился, а только странно обрадовался, когда увидел свою мать на том же самом месте, где за несколько минут ее оставил. И на этот раз мать должна была первой освободиться из лихорадочных объятий сына.

Наконец он явился к дежурному воспитателю (в каждом возрасте дежурили по очереди свои воспитатели), который осмотрел очень тщательно его узелок. Так как вечерняя молитва уже кончилась, то отпускные из дежурной шли прямо в спальню.

Там, у самых дверей, их дожидалось человек двенадцать второклассников. На Буланина, едва только он вошел со своим белым узелком, эта орава накинулась, как стая голодных волков.

Новичок, угости! Новичок, поделись! Дай гостинчика, Буланка!..

И все руки тянулись к узелку, сталкиваясь и цепляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться вперед и отпихивал плечом мешавшего товарища.

Господа... да позвольте же... я сейчас, бормотал растерянный, оглушенный Буланин, я сейчас... только... пустите же... я не могу всего...

Он поспешно развязал узелок, стараясь увернуться от хищных рук, вырывавших его, и сунул в чью-то руку яблоко. Но в это время на всю копошащуюся вокруг Буланина массу налетел какой-то огромный рыжий малый и закричал неистовым голосом:

На шарап!

В ту же секунду белый узелок, подброшенный снизу сильным ударом, взвился на воздух. Яблоки и лепешки разлетелись из него во все стороны, точно из лопнувшей ракеты, а банка с вареньем треснула, ударившись об стену. Свалка тотчас же закипела на полу, в темноте слабо освещенной спальни. Старички на четвереньках гонялись за катящимися по паркету яблоками, вырывая их один у другого из рук и изо рта; некоторые немедленно вступили в рукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку с вареньем, поднял ее и, запрокинув голову назад, лил варенье прямо в свой широко раскрытый рот. Другой заметил это и стал вырывать. Банка окончательно разбилась в их руках; оба обрезались до крови, но, не обращая на это внимания, принялись тузить друг друга.

На шум общей свалки прибежало еще трое старичков. Однако они быстро сообразили, что пришли слишком поздно, и тогда один из них, чтобы хоть немного вознаградить себя за лишение, крикнул:

Куча мала, ребята!..

Произошло что-то невообразимое. Верхние навалились на нижних, нижние рухнули на пол и делали судорожные движения руками и ногами, чтобы выбраться из этой кутерьмы. Те, кому это удавалось, в свою очередь карабкались на самый верх мала-кучи.